



Н. М. ВОЛКОВЫССКИЙ

Н. С. Гумилев

На низком берегу Невы, возле самой волны, бесшумно целовавшей прибрежный песок, вдали от суеты едва-едва возрождавшегося Петербурга, сидели мы долгие вечерние часы и слушали Гумилева, читавшего свои стихи.

Монотонное, с однообразным повышением и понижением, с холодным, почти бездушным пафосом, чтение. Порой становилось скучно. Стихи были знакомые, читал Гумилев с незажигающей, неволнующей четкостью, но поэт любил читать себя, а слушательницы требовали еще и еще.

Мы жили в советском доме отдыха — и все были рады уйти от вялых будней коммунизированной жизни. Странные были дни: в двух шагах от нас — огромный, советски-прозябавший завод с комячейками, комиссарами, лозунгами, резолюциями, а мы сидим на безмятежном берегу Невы без комиссаров, без лозунгов, без кожаных курток и «партийной дисциплины» и слушаем стихи о дикой Африке, о женщине с огненными волосами, об обезьяне, пять дней правившей страной¹. И разве только эта обезьяна возвращала усталую от казарменной жизни мысль к окружающей действительности, нелепой, изуродованной, обнищавшей.

Среди этого общего обнищания и жалкого духовного оскудения Гумилев продолжал с необычайным упорством и неуклонной твердостью, с какой-то свойственной ему несгибающейся и неуклоняющейся прямоотой жить в своем мире поэтического образ- и словотворчества.

Была какая-то не вязавшаяся с искривленным и надломленным окружением нас всех надменность в его сухой и холодной фигуре, его размеренной и спокойной речи, его фанатической любви к поэзии, которая превыше всего.

Вечер за вечером сидели мы на низком берегу Невы, слушали стихи, говорили о литературе, уносились от лозунгов и «пожара мировой революции», от «серпа и молота» в экзотический мир глубинной Африки.

О чем можно было говорить с Гумилевым?

Как со всяким человеком, обо всем, конечно, но через пять минут разговор уже переходил на поэзию.

Это была его исключительная особенность: в сущности, кроме поэзии, его ничто не интересовало по-настоящему. По всем самым острым вопросам жизни он скользил рассеянным взглядом: общественность, политика, гражданская война, удушие окружающего — все это как-то мало его задевало.

Гумилев расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Я не знаю, имел ли он какое-либо отношение к таганцевскому делу². В Петербурге носились смутные слухи, будто он летом 1921 года в Крыму, куда он уехал на две-три недели, написал для каких-то офицеров антисоветскую прокламацию.

Маловероятно, но возможно. Если написал, то, должно быть, очень скверно. Он политику не только не любил, он не понимал ее: при всей своей начитанности в европейской художественной литературе он был примитивен в своем политическом мировоззрении и мироощущении.

Припоминаю разговор, который мы имели с ним в то же лето 1920 года, когда жили с ним вместе в доме отдыха. Единственный за все годы революции разговор о политике, о том, что в советской тюремной жизни называлось общественностью, о литературно-общественных делах.

Быть может, впервые, во время этого разговора, он задумался над той борьбой, которую мы вели тогда за право писателя сохранить свое писательское «я», за его достоинство, за его существование. До тех пор он пользовался, как и все, скромными плодами этой борьбы, принимая их как должное, не давая себе — как и почти все — труда хоть на мгновение вдуматься в ту огромную работу, которая велась около него.

Он говорил политически-наивные слова. Он был почти детски-оптимистичен: он ждал близкого падения большевизма с тем же упрощением сложной ткани разбереженной и взбудораженной жизни, с которым к ней подходил рядовой обыватель.

Уверенный в себе, в своих творческих силах, в несокрушимой правде своего поэтического пути, он всем холодным огнем своей души ненавидел большевизм, примитивно рисуя себе рай «белого» освобождения.

Разгул народной стихии, разнузданность черта, вызванного из мрачных ущелий человеческого духа, были ему и чужды и непонятны. И суждения его о революции были неинтересны.

Даже в разговорах с глазу на глаз, под старой березой у проезжей дороги, он афишировал «аристократизм духа», нередко путая настоящий аристократизм, которым пропитаны лучшие, тончайшие стихи его, с армейской игрой в гвардейщину.



Двумя уступами вырубил Господь Бог духовный лик Гумилева: на большой высоте, среди цветущих фантастических садов, в лучах абиссинского солнца, высоко-высоко над суетной людской толпой, раскинулась поэтическая терраса его духа. Здесь рождались чеканные образы, сильные, ударные рифмы, здесь звучал гумилевский ритм, здесь жила его поэтическая гордость, казавшаяся, быть может, гордыней, в действительности же значительная в глубине своей силою самооценки.

Кто-то из его поклонниц, — у этого на редкость красивого человека их всегда было много, — сказала раз:

— Вы, Николай Степанович, первый русский поэт современности.

— Неправда, — ответил Гумилев спокойно, — у Блока есть одно-два стихотворения, которые выше всего, что я написал за всю свою жизнь.

И на этой же террасе, в этом Семирамидовом саду гумилевской души, зародилась и страсть к африканским путешествиям, и патриотический порыв, увлекший его добровольцем на фронт, в эскадрон армейского гусарского полка.

А внизу, *terre-a-terre*, жил в его душе армейский гусарский корнет со всей узостью и скудностью своего общественного размаха и мировосприятия, чванливостью кавалерийского юнкера, мелким национализмом, скучным кастовым задором.

Если верно, что Гумилев написал в Крыму какую-то белогвардейскую прокламацию, то пером, ее писавшим, водила рука Гумилева — гусарского корнета.

А если правда, что в Чеке на вопрос о его политических взглядах он ответил: «Я монархист», то «монархистом» был в нем тот же корнет, но сказал эти слова, глядя смерти в глаза, тот, другой, настоящий Гумилев из Семирамидовых садов.



За годы жизни в советской России мы перевидали и пережили так много жуткого, что убийство еще одного человека, хотя бы и крупного поэта, не должно было бы, казалось, так остро ранить притупившуюся душу. И, тем не менее, на всю жизнь останутся в памяти последние дни августа 1921 года. Дни бессильного метания в Чеку, в Москву, в Совнарком, дни судорожных поисков нитей спасения.

Дыхание смерти повеяло на нас впервые, когда мы стояли в кабинете председателя петербургской чрезвычайки, невежест-

венного рабочего, не знавшего, никогда не слыжавшего имени поэта, об освобождении которого мы пришли просить³.

Он путал имя, называл Николая Степановича Гумилевич, сперва говорил какой-то вздор о «профессорах и писателях, попадающих за растраты и должностные преступления». Затем навел по телефону справку, и, получив ее, сразу переменял тон, уверял, что «в интересах следствия» он не может сказать нам, в чем обвиняется «Гумилевич», пожелал внезапно посмотреть наши «мандаты», нагромождал одно на другое бессмысленные слова «об охране гарантий прав личности»; с едва заметной иронией, с раздражавшей улыбкой отвечал на нашу просьбу об освобождении на поруки: «Раз вы так уверены в его невиновности — значит, вам нечего беспокоиться, через неделю он будет с вами».

И все это говорилось языком и тоном приказчика из средней галантерейной лавки. Нас не пригласили сесть (мы явились в качестве делегатов от литературных организаций). Тон все время менялся: вначале, когда председатель Чеки — рабочий с фамилией Семенов — услышал от нас (впервые в жизни) имя поэта Гумилева, он, не зная еще, по какому делу тот арестован, был внешне любезен, затем, получив справку, стал издеваться, сохраняя личину внешней корректности, а под конец был почти груб.

И хотя нам ничего не было сказано, но это «ничто» было злое: от него веяло запахом трупа.

И через неделю Семенов докладывал в губисполкоме о расстреле «известного поэта Гумилева», а в опубликованном списке Н. С. Гумилеву инкриминировалось, между прочим, получение из-за границы от белогвардейцев денег.

Эта клевета не наложила своей тени на память Николая Степановича.

* * *

В этой смерти не было ничего, в чем растревоженная негодующая мысль могла бы найти хоть на миг успокоение. Ничто не оправдывало убийства поэта.

И нигде в его крови не оправдаются те, кто обагрил ею свои руки.

Август 1923 г.

